

Сидеть в чужом лагере и ждать, пока встанет река, мне что-то совсем не хотелось, а переправа вмиг стала опасной. За себя я не слишком боялся. С крепкой палкой в руках, петляя меж льдинами, как-нибудь перешел бы опасную реку, а вот если большая пластина накроет Джелона, поминай тогда собаку.

— Что будем делать?! Пойдем — не пойдем?! — громко кричу я сидящей на припае собаке.

«Ну конечно, пойдем!» — говорит взгляд бесстрашного пса.

— Ну, смотри, не спеши!

Погрозив ему пальцем, раскатываю сапоги и осторожно ступаю в холодную быструю воду. Я не спешу звать собаку, так как знаю, что на скользкий припай с глубины ей будет трудно выбраться. Джелон, не решаясь ступить в глубину, волком воет мне в спину. Вой обрывается, когда прохожу уже треть реки. Краем глаза вижу, как в стороне от меня, по усеянной льдами стремнине, легкой щепкой несется мой пес. Стараясь ободрить скулящую собаку, я громко кричу ей вслед. Кручусь, словно заяц, меж быстро летящими острыми льдинами, выбираюсь на мелкое место и, вздымая каскады сверкающих брызг, вылетаю на низкий берег. Кидаю на ленту припая рюкзак, сверху карабин и со всех ног бросаюсь на помощь собаке. Джелон, тяжело воя, скребет лапами по льдинам, а они тащат его вдоль узкой полоски припая к залому. Упав наземь, я по-пластунски ползу к кобелю. В голове промелькнуло: «Не дай бог подо мною обломится лед, мне в моих сапогах из стремнины не выбраться...» Но здесь как в бою — погибай, а товарища выручай! Ухватив за ошейник перепуганного пса и загребая воду рукой, удаляюсь от опасного места. Джелон, от страха сделав бешеный круг, встает рядом на берегу и, весь от кончика носа до кончика вставшего колом хвоста, отряхивается от воды.

— Ах ты, тварь! — Подскочив, бросаю в собаку свой длинный посох. — Да когда ж ты уже поумнеешь?! Что зимою, что летом, всегда на меня отряхиваешься!

Теперь я сам стою и трясусь, как в крутой лихоманке. Закинув на спину рюкзак, иду по широкой полоске припая. Мне идти хорошо, ночной ветер сдул со льда снег. Далеко впереди, у большого залама, быстро забежал Джелон — видно, выдру почуял.

«Ловить выдру в заломе — пустая затея, вода рядом, и зверь совершенно спокойно уйдет от собаки». Только успел я подумать такое, как вижу: от гладко обкатанных крупною галькою бревен на полоску припая вылетает зайчишка. Прижав к спине уши и выпучив красные глазки, он летит на меня, быстро мелькая короткими лапками, как шестеренками в мелких часах, а за ним, скользя мощными лапами по льду, с воем несется собака. Мне стрелять в зайца нельзя. Я-то знал, что он проскочит, а пуля, как шилом, пронзит собаку. Сколько вот так, в охотничьем

страстном запале, было побито хороших собак! Наклонившись ко льду, завожу назад руку и кидая тяжелую палку под ноги косому. Палка сбивает его, и зайчишка, быстро вертя в воздухе сальто, летит по инерции к воде. Джелон отвернул и, зло разинув пасть, бросается вслед за добычей.

— Стой! Куда ты?! Очнись! Погоди! — громко кричу обезумевшей от охотничьего азарта собаке. Кобель, как будто очнувшись, на всех четырех тормозит, а косою, встав у кромки воды на лапы, быстро уходит от страшной погони, мигом набрав скорость. Джелон озверел и, едва не свалив меня с ног, вновь пустился бежать за ушедшим полоской припая зайцем.

— Стой! Вернись! Я все прошу! — громко кричу, хохоча, вслед убежавшей собаке. Прохожу длинный остров, сажусь отдохнуть на тяжелый топляк и вижу: вдали показалась точка. Вывалив набок язык и тяжело дыша, Джелон без сил падает у моих ног.

— Ну и дурень же ты, — говорю кобелю. — Делать тебе больше нечего, за зайчишкою вздумал гоняться.

Джелон, уронив на лапы голову и прищурился глазами, молча слушает обвинения.

— Ты точно наш пастух, Захар Соловьев, вздумавший сдуру гоняться за зайцем.

А дело было так. Захар после пьянки сильно болел, и так хотелось ему похмелиться, что, бросив на плечи протертый насквозь нярмекан* и надеясь лишь только на чудо, покатил к магазину. Там, напротив прилавка, прислонившись к пузатым, набитым капустою бочкам, стояли точно такие же «больные». Захар, вклинившись боком в их тесный кружок, терпеливо стал ждать появления «чуда». И «чудо», которое здесь совершалось почти каждый день, случилось и нынче! В магазин, обивая о грязный порог черные валенки, дружную шумной ватагой зашли работяги — «бичи», как их здесь называли. Эвенки мигом воспряли духом, так как знали: у тех в их жаркой «бичарне», прокуренной насквозь, «коммунизма» давно наступила и они, как никто, с полувзгляда поймут точно таких, как они, бедолаг. Работяги набрали в авоськи спиртного, и эвенки потянули к ним все, что только могли. Захар давно все пропил и отдать ему за глоточек спиртного совсем было нечего. И вдруг, смело выступив вперед, он гордо сказал, что сейчас принесет в магазин косою! Все опешили. Даже у «битой», как здесь говорят, продавщицы в глазах застыл немой вопрос. Пастухи отдавали за водку здесь все: и хороших собак, и ездовых оленей, но вот так — принести из тайги длинноухого зайца?! Посмеялись над странным эвенком «бичи», а потом говорят:

— Ну, давай, брат, беги. Мы тебя подождем. Если что, то за нами бутылка.

Услышав такое, подпрыгнул эвенк от радости и быстрою мышкою выскочил на улицу. Взяв за околлицей заячий след, Захар поднял с теплой лежки косою и гнался за ним до тех пор, пока тот от усталости, жалобно вереща, не повалился на спину. Спутав ремнем лапы косому, Захар прибежал в магазин и там, гордо вскинув вверх зайца, получил от «бичей» ценный приз.

— Вот так раньше бегали стылой тайгой пастухи, — говорю я Джелону. — А ты бегал полдня и кого ты догнал? Где твоя добыча, брат?

Отдохнув на бревне, подошли мы к гудевшему грозно прижиму, и я, взяв собаку на длинную шворку, потащился за ней вверх по склону. Джелон мог спокойно и ровно тянуть меня в гору, но он так ненавидел ошейник и так любил волю вольную, что ему легче было удавиться в петле, чем носить его на своей крепкой шее. На

* *Нярмекан* — лёгкая куртка из меха оленя (эвен.).

вершине перевала, сбросив с глухо хрипевшей собаки удавку, я прислонил карабин к покореженной ветром сосне и стал смотреть, как река громоздит под отвесным прижимом ледяную неровную гору.

...Где-то там, за огромной пустынной марью, у подножья высокой горы приотлилась моя зимовьюшка. Она была только наполовину моей. Бывалые люди сказали мне, что избушку построили курун-уряхские ээки. Как-то на легкой дюралевой лодке я шел вверх по реке и, случайно оказавшись в глухой протоке, на крутом берегу увидел потемневшую стену строения. Вдоль высокого берега я подъехал к жилью и, уткнув острый нос своей лодки в золотистый песок, поднялся к позабытому всеми жилищу. На песчаном берегу было лишь основание сруба, два верхних венца над окном, а потолок и двускатную крепкую крышу сдуло ветром. Лет десять-пятнадцать назад пролетевший долиной реки ураган завернул на открытую всем ветрам марь и, закрутившись юлой, подхватил снизу остроконечную крышу, поднял ее вверх вместе с потолком и венцами, крепко прибитыми скобами к стропилам, и бросил в глубокие воды протоки. В стороне от избушки, на заросшей травой поляне, стоял старый, разбитый ветрами сарай, рядом с ним коновязь. Это тихое место так приглянулось мне, что я, выбрав часть бревен из разбитого непогодой сарая, нарастил зимовье и, утеплив мхом и дерном потолок, на два слоя закрыл тонким толем двускатную крышу. Но, как оказалось в дальнейшем, самым главным здесь было то, что бежавшая рядом с избушкой протока не замерзала даже в жестокую стужу, поэтому чуть позже на месте сарая я срубил небольшую, по-черному, баньку. От холодного ветра зимовье защищал стоявший напротив плотный ельник, а медленно плывшее над ним солнце заливало избу ярким, радостным светом.

Осмотрев с перевала тайгу, я спустился к реке, и здесь кто-то, словно бес, стал шептать мне на ухо: «Чем впустую идти вдоль реки, отверни-ка ты, брат, под хребет, может быть, там увидишь на мари сохатого?» — «Но ведь там большой снег», — противлюсь я ему. «Но зато там идти к зимовью вдвое ближе...» — «То правда твоя», — отвечаю ему, хоть и знаю: по снегу идти тяжелее. Бреду по припаю, стуча крепкой палкою по льду, а сам, как по чьей-то указке, гляжу да гляжу в плотный ельник.

«Не смотри ты туда, — шепчет мне трезвый голос, — идти по припаю легко, хорошо, вот спокойно и топай». — «Да я только взгляну из-под склона на марь», — говорю себе и тотчас же назад оборачиваюсь, а ноги против воли моей так и несут меня в темный ельник, где нет даже намека на снег. Плотные ветви, как частые крыши буддистского храма, крепко держали в своих цепких лапах свежесвыпавший снег. Быстро добежал по нему до пологих увалов хребта, а под ним, среди реденьких елей да тощих лиственниц, сразу же ход поубавил.

«Пока не ушел далеко, отверни, не ходи», — совсем слабо шепчет во мне трезвый голос, но, быстро взглянув на высоко стоявшее солнце, я твердо решил, что дойду! Бороздя сапогами податливый снег, бодро шел по заброшенной санной дороге, но, как только она потерялась в безбрежной мари, я, будто в топком болоте, поплыл среди скользких, невидимых мне из-за снега кочек.

Отвернуть бы к реке, только где эта речка? Повернуть бы назад, да уж солнце незаметно совсем к горам наклонилось. Посмотрел я с тоской на далекую темную релку и, разведя руки в стороны, давай топтать сапогами сырой, плотный снег. Чуть пройду, присяду, голову вниз уроню да дышу, как на смерть загнанная лошадь. Четверть мари еще не прошел, а диск солнца завис уж вдали над хребтами. Понял я, что попался.

Вот что значит — нарушить таежный закон и пойти по тайге напрямую. Так только медведь ходит, у него силы хоть отбавляй, и ему все равно, под какую ко-

рюгу спрятаться, а мне в чистом поле ни костра развести, ни от стужи ночной не укрыться. В сплошной темноте я уткнулся в колочий кустарник и, с трудом прощупав его, поднялся на сосновую релку. Повесив на сук карабин, присел на рюкзак и, привалившись спиной к сосне, ясно понял, что мне не дойти до зимовья. Здесь когда-то прошел низовой, очень сильный пожар. Все, чему можно было сгореть, сгорело, и развести костер было не из чего. Достав маленький термос, я глотнул сладкий чай, и он показался мне горьким. Со мной уже бывало такое, и я понял, что «запалился». Из тайги перевалами пришел как-то к ночи в поселок. Мне дают банку виноградного сока, я пью, а он горький. Жена открывает другую баночку, но и там горький сок. Тогда она и дети пробуют сок, а он сладкий. И лишь только на следующий день вкус сока стал для меня нормальным.

Из темноты показался Джелон. Он как шел, так и лег, тяжело уронив голову на лапы.

— Что, дошел? — говорю обезножевшей, как и я, от глубокого снега собаке. — И я тоже дошел.

Джелон с укоризной взглянул на меня и, глубоко вздохнув, вновь сомкнул веки. «Завел ты меня, — сказал его взгляд, — как Сусанин поляков».

— Ты-то, поди, доползешь до жилья, а я, мокрый насквозь, под высокой сосной околею.

«Зря ты думаешь так, — говорят мне глаза кобеля. — Я останусь с тобой, погибать будем вместе».

— Ну а может, пойдем?

«Ну, пойдем, может, и дойдем», — чуть махнула мордой в ответ собака.

Бросив рюкзак, карабин и оперевшись на палку, я поднялся и, едва шевеля ногами, подошел к краю релки. Два глотка чая дали мне силу, и внутри вновь затлела надежда: может быть, мне удастся дойти до жилья? Не один я застревал вот так вот в пути.

Но помощи ждать было не от кого. Опираясь на палку, я спустился с крутого обрыва и пошел к не видимой мне в темноте узкой релке. Чуть пройду — оглянусь, посмотрю на Большую Медведицу и по ней торю к своей зимовьюшке. Нашупав рукави кустарник, не торопясь поднялся в другую сосновую релку, привалившись спиной к стволу и незаметно уснул. Спал недолго и проснулся от сильного храпа. Ничего не пойму: я во сне никогда не храпел, а тут меня разбудили его звуки. Хочу оглядеться, понять, что со мной происходит, и не могу открыть глаз. На крепком морозе ресницы так плотно прилипли друг к другу, что я не могу их разъединить. Трясу головой, тру большой меховой рукавицей глаза, и все время мне кто-то твердит: «Не спи, не спи, не спи...» Достая из-за пазухи термос, подношу горло колбы к глазам. Ресницы чуть-чуть отошли, я открываю глаза и удивляюсь тому, что вокруг меня стало светло. Отчетливо вижу: лежит со мной рядом, свернувшись в клубочек, Джелон, над нами высокие стройные сосны, за ними темнеет пологий хребет, в стороне над протокой гора, и там, под нею, моя зимовьюшка. Удивился тому, что я еще не в жилье, а мне уже так хорошо, тепло и уютно, что нет никакого желания двигаться дальше.

— Джелон, Джелон, — позвал тихонько собаку. Кобель, подняв голову, долго смотрел на меня и, не дождавшись команды, вновь ткнулся мордой себе под мышку. И только сейчас до сознания дошло: да ведь я замерзаю. Стараясь не отпустить эту слабую мысль, потряс головою, шевельнул потихоньку плечами и, достав из-за пазухи термос, отвинтил и бросил в сторону крышку. Допиваю до дна крепкий чай, опускаю на снег пустой термос и, вновь посмотрев на такую до боли знакомую гору, твержу себе: «Надо дойти!» Убеждаю себя: «Марь совсем небольшая, там протока, на ней должен быть лед». Качаюсь и понимаю: мне просто так не подняться. Падаю на бок и, утопив руки в снег, потихоньку встаю на колени. Цепляясь руками

за кору сосны, поднимаюсь на будто чужие, почти онемевшие ноги и, держась за ствол дерева, с трудом разгибаю совсем затекшую спину.

«Спокойно, спокойно, — качаясь, как пьяный, твержу и твержу я себе. — Ты прошел две большие мари, впереди еще одна — небольшая, в широких проплешинах, а за нею протока, там должен быть лед, и ты должен дойти, до избушки осталось всего ничего». Потоптался я, крепко держась за дерево, потом сделал шаг, другой, третий и так, хватаясь по дороге за сосны, подошел к краю релки. Продираюсь сквозь кусты, выхожу на открытую всем ветрам марь и чувствую: снега здесь стало меньше.

«Повезло, повезло, надо, надо дойти, только, только не останавливаться», — так, убеждая себя, выхожу на протоку и на изгибе ее вижу, как узкой полоской под луною блеснул тонкий лед. Закрываю глаза, собираюсь в комок и с крутого обрыва лечу на протоку. Ползком выбираюсь на лед, потихоньку встаю, снега нет, и мои онемевшие ноги будто сами несут меня к дому. Утопая в снегу, Джелон следом за мною выходит на лед, и, встряхнувшись, резко рвется с места, и, как всегда, по-приятельски крепко бьет меня твердым боком в сапог. Я покачнулся, упал, закричал на собаку, но из моей пересохшей насквозь слабой глотки вырвался только какой-то задавленный хрип. Опираясь на руки, тихонько встаю и, качаясь, бреду за умчавшейся вверх по протоке собакой.

— Так бы и шел ты спокойно широким припаем, — бормочу я себе с укоризной, — и давно спал уже в теплой избушке. Нет, сохатого нужно тебе еще было добыть, жадность людская тебя одолела!

Перед плотно заросшей травой поляной берега обмелевшей протоки сошлись, и за узкой полоскою тощего леса затемнело мое зимовье. Прохожу мимо стоящего на высоких, гладко обструганных лиственных столбах лабаза — там одежда, продукты и одетые в камус широкие лыжи.

— Где же вы были раньше? — говорю я им и, горестно опустив голову, подхожу к вросшей в землю избушке. Отбросив от двери облезлые старые шкуры, я низко согнулся и нырнул в зимовье. Там, опираясь руками о голые длинные нары, на ощупь пробрался к столу. Ладонью натерпел на столике спички, зажег крепко натертую мылом свечу и, присев, стал смотреть на мерцавшее в стылом воздухе яркое пламя.

— Вот и все. Я дошел. Век бы так не ходить мне тайгою.

Отяжелевший, сырой, я, казалось, сидел бы так целую вечность, но из темных углов на меня потянуло такой застоявшейся стужей, что я живо представил, как удивятся друзья, когда обнаружат меня околевшим у печки!

А ведь было такое! Как-то остались на зиму в нашем поселке геологи. Я в тот последний день старого года только-только пришел из тайги. Помылся, оделся, стал крутить приемник, а батарейки-то сели. Пошел я тогда к жившим рядом геологам.

— Нет у нас батареек, — говорят они мне.

Покачал я головой и пошел к работягам, что жили возле клуба. Зашел в сенцы, в избу, а там нет никого и темно. И что странно — там стыло.

— Эй, есть здесь кто-нибудь?!

Заворчалось что-то в углу, захрипело. Станным мне показалось все это. Я опять прокричал:

— Эй, есть здесь кто-нибудь?!

В темном углу заскрипели пружины кровати, и опять кто-то там прохрипел. Нашел я на столике возле окна коробок серных спичек, зажег закопченную черную лампу, крутнул в ней фитиль и вижу: в углу и у печки стоят две широкие кровати, а на них горой шубы и какие-то сверху лохмотья, а в углу под ворохом одеял что-то чуть шевелится.

Подошел я, отодвинул лохмотья, гляжу: лежит Федя из Минска. Здесь все так звали его, потому что когда прилетал он из темной тайги в долгий отпуск, то всем клаясь, что едет к матери в Минск. Крепко с неделю попив, садился на Ан-2М и летел в Николаевск, а там — ресторан, ожерелья на шею официанткам, на выходе уже ждут его «менты» и любезно везут в вытрезвитель. Наутро в кармане нет ни гроша. Снова в банк, опять похмелье и веселье, но очень скоро снимать нечего, и Федя звонит в бухгалтерию. Там уже знают таких бедолаг и оставляют деньги на их счете. Покупают ему тут же в порту билет, и летит отпускник обратно. Отпуск долгий. Лететь снова не на что, и, попив еще месяц в прокуренной насквозь бичарне, он, чтобы совсем не пропасть, просится назад в тайгу.

Откопав работягу из вороха черных лохмотьев, я, наклонившись к нему, спрашиваю:

— Что с тобою случилось?

— Замерзаю я, — говорит едва слышно Федор. — Пили мы здесь три дня, а сейчас растопить печь не можем.

Я, еще не поняв всю серьезность его положения, говорю:

— Есть у вас батарейки к приемнику?

— Есть у нас, есть. Все мы тебе отдадим, только печь растопи.

Для меня растопить печь не составит труда. Наклонился я к ней, открыл дверцу, а там полно сырых дров и лежат на них сверху домашние тапочки. Вытащил все это я из печи, тапочки — в сторону, в печь — сухих дров. Чиркнул спичкою, пламя быстро занялось. Я наносил к печи еще сухих дров. Федор чуть ожил, зашевелился у печки в кровати Буравчик (его товарищ), и не верится мне, что я спас работяг.

— Бери батарейки, они там, в комодe, — хрипло прошептал Федор.

— Я к вам еще через час-два приду, — сказал я ему, взяв батарейки и, плотно закрыв дверь, покатился под гору.

Замерзать мне, как «Феде из Минска», совсем не хотелось, и я, в сотый раз пересилив себя, оперся о нары и на онемевших ногах подобрался к пузатой печи. Упав перед ней на колени, двинул в сторону толстую дверцу, ухватил из ведра горсть наструганных заранее стружек, положил на них мелко наколотых дров и, чиркнув спичкой, поджег завитушки. Осветив темный угол зимовья, пламя дохнуло мне в лицо легким жаром и метнулось в трубу.

— Вот теперя я спасен, — тихо сказал я себе и, закрыв дверцу печи, перебрался на нары.

— Почему у тебя такой нож? — как-то давно, начиная охоту в джугджурских хребтах, спросил я у одного старого тунгуса.

— Э-э-э... — протянул, дымя трубкой, эвенк и поглядел на меня тусклым взглядом.

— Что в тайге главное? — тихо спросил он меня.

— Ну, ружье, спички, нож... — стал неуверенно мямлить я старику.

Вынув трубку изо рта, эвенк сказал:

— Добыть в тайге огонь — вот что самое главное.

Взяв в корявые руки узкий, заточенный под стамеску охотничий нож, он стал водить им по палке, и нам под ноги начали падать пучки завитых мелких стружек. Зажав их в ладони, старик чиркнул спичкой, и вверх потянулось большое и жаркое пламя.

— На, — протянул он мне длинную палку, но, сколько бы я ни водил по ней своим острым ножом, ничего у меня даже похожего на стружки не получилось.

— Пропадешь ты в тайге вместе с этим ножом, — кивнул он на мою заводскую игрушку. — На, бери. Я уж стар для тайги, а тебе он еще пригодится.

И, воткнув в деревянные ножны надежную сталь, протянул мне свой старый, испытанный временем нож. Давно уж нет в живых того пастуха, а его острый нож до сих пор мне в тайге верно служит.

Отвернув голенища болотных сапог, я вывалил на пол большие лепешки холодного снега и невольно подумал о том, как бы я ночевал в той пустой длинной релке, когда все на мне было мокрым. Дойти — я дошел, печку растопил, оставалось еще принести воды из протоки. Взяв с полки ведро, я ступил за порог, и крупные яркие звезды мигнули мне с черного купола неба. Ковш развернулся, и его ручка показала мне полночь.

— Ну и долго я шел! — удивился сам себе.

Как дошел? Даже страшно мне стало.

— Спасибо тебе, — виновато сказал застывшей на склоне бездонного неба большой, неуклюжей Медведице, — не ты бы, навряд ли я нашел зимовье.

У закрайки припая склонился к мелко рябившей стремнине, и мне так захотелось напиться воды, что казалось, только припади я сейчас к ней губами, мигом осушил бы протоку до дна. Но однажды мне жизнь преподала хороший урок.

...В жаркую пору шел с сенокоса пыльной улицей прокаленный дневным страдным зноем мужик, а перед ним, как назло, чья-то баба достала студеной воды из колодца. Приложился к ведру мужик и стал заливать тот внутренний жар ключевой холодной водою. Опух он к полуночи, и как огнем обдало могучее тело. В тяжких мученьях, в бреду он скончался под утро.

Не выдержав мук, я припал лицом к темной воде и, смочив воспаленные губы, с сожалением выплюнул воду. Зачерпнув из протоки воды, поднял кверху голову и посмотрел на зимовье. Из высокой трубы вился в чистое небо дымок, и ему до людских проблем совсем не было дела. От жарких лиственных дров в избе быстро теплело, и я, поставив на печь большой медный чайник, стал сдирать с плеч сырую одежду. Раскатав по жердям длинных нар сохатиную шкуру, расстелил по ней теплый спальный мешок, поправил подушку и, бросив горсть цейлонского чая под крышку чайника, поставил его на свободные нары. Есть мне не хотелось, и я, налив в большие белые кружки густой ароматный напиток, достал из-под шкуры бутылку коньяка. Добавив его тоненькой струйкой в чай, включил отошедший от стужи приемник и, привалившись на подушку и прищурился глаза, поднес полную кружку к губам. Выпиваю одну, третью, пятую (я им счет потерял), а все кажется, что мне теперь никогда не напиться. Выпив до дна медный чайник кипятка, я залил его стылой водой, вновь поставил на печь, а напротив на нары — большую кастрюлю. Стал поварешкою лить в кружки чай. Бросив в печь сырых дров, я тянул и тянул в себя терпкий напиток, пока он, как по колбе поднявшись наверх, не полился наружу. Настроив волну в приемнике, подул на свечу и, повернувшись к стене, обнял руками подушку. Я не спал, был в каком-то глухом забытии. Поднимусь, брошу в печь сырых дров, на чужих, онемевших ногах подберусь к небольшому столу и, глотнув терпкого чаю, вновь бессильно валюсь на широкие нары.

Кто в бескрайней тайге человек? Да никто! Вот ползет он по снегу маленькой черной козявкой. Молчаливо глядят поседевшие горы, как он корчится в рыхлом

снегу. У сохатого ноги — в мой рост, и то сильный зверь в такой снег нет-нет да и упадет от усталости. Как я шел, как преодолел ту марь — до сих пор не пойму. Видно, двигала меня тогда лишь сила духа!

В зимовьюшке темно. Окно еще с прошлого раза закрыто облезлыми шкурами. Приподнялся, переключил «Горизонт» — сплошь иностранная речь. Покрутил колесо, нашел нашу волну. Слава богу, жива где-то там за горами Россия!

Надоело лежать, приоткрыл чуть-чуть дверь: солнце залило светом тайгу, а из дальних густых тальников ко мне ясно донеслось звонкое пение рябчика. Накинув на плечи подсохший нярмекан, обхожу зимовье и, отбросив ногой от окна занесенные снегом облезлые шкуры, запускаю в избу лучик яркого солнца. Я спал, не вставая, почти двое суток! Наносив в бак воды, затопил баньку-каменку, а пока вода грелась, надел лыжи и пошел за оставленной поклажей. Пробежав колосившуюся жестким вейником марь, поднялся на первую длинную релку. Под сосной, возле ямки, где я чуть не нашел свой последний приют, лежал промерзший пустой термос, а в стороне вверх резьбою — массивная пробка. Я нагнулся, взял в руку холодную колбу, зачем-то понюхал и, закрыв левый глаз, глянул внутрь. На ее дне полоской застыл крепкий чай. Да, не взял бы я в путь этот напиток, остался бы лежать на этом снегу.

На широких, подбитых оленьим камусом лыжах быстро скольжу по осевшему за два дня снегу, и мне страшно глядеть на свой темный, слегка занастившийся след, а он длинным канатом ползет, извиваясь, по белой безжизненной мари. Иногда след качнется, уйдет резко в сторону, но потом, как бы очнувшись, вновь ровно ползет по болотному пространству.

— Ты гляди, — вздернув нос, говорю я себе, — как по компасу катит в избушку!

«Не гордись. Моли Бога, что ночь была ясной, не то б ты как заяц до сих пор петлял по тайге», — осаживает меня внутренний голос.

После бани ходить по заваленной буреломом тайге нежелательно, можно легко подвернуть ногу, и я решаю сходить вверх по протоке. С утра мороз сильный, и полоска воды посредине протоки курится белесым, едва видимым паром. Густой ельник от теплых, сырых испарений застыл, побеленный седым, мохнатым инеем, и не дай бог зайти в то волшебное царство: с головы и до пят, как дождем, тебя мигом окатит сырой, липкой пылью.

С крутого обрыва любуюсь застывшей, сонной тайгой, здесь редко найдешь такое отрадное место! Протока бежит из глубокого круглого озера, которое со дна питают ключи. Один ключ скатывается от моей одинокой горы, а другой между кочками струится из замшелого ельника. В темных развоях таежного озера вплоть до Нового года живет табун серых уток. Заметив собаку, утки громко закричали, закружились на месте, а потом, зарябив воду крепкими крыльями, сделали горку и помчались над темной водою к реке. Я не стрелял зимовавших на озере уток, бросал им на лед подкормку, надеясь приручить их, но все мои старанья были тщетны. Крепко сидевший в них страх перед людьми был сильнее самой вкусной приманки.

Поставив в ключе два капкана на выдру, я сделал по ельнику круг и вышел меж редкими кустами тальника на чистую косу к горной речке, глухо ворочавшей глыбами льда. Напротив меня, под безжизненным черным, костлявым хребтом, покосившись набок, темнела двускатною крышей избушка. Жил в ней когда-то высокий и крепкий старик. В летнюю пору ловил он по тихим заливам ленков да тайменей, а зимой по ключам добывал соболей. Посоветовал кто-то ему сделать солонец для баранов. Завез старик на лошадке во вьюках на горный хребет крупную серую соль и через год с небольшим перебил всех баранов. А под осень пришла с побережья гроза. Молнии так били землю упругими стрелами, что людей по

зимовьям бросало, как в море при шторме на шконках. Мощный заряд, запалив зимовье, оглушил старика, и его увезли чуть живого в поселок, и сейчас в осевшей на угол избе гуляет лишь один вольный ветер...

Здесь у каждой таежной избы своя жизнь и далеко не простые житейские судьбы. Как-то раз на закрайке большой темной мари я набрел на пустое жилье. Чем холодной осенней порою лежать под кустом, решил я, пересплю-ка в этой заброшенной всеми избушке.

Затянув рваной дерюгой разделку над истлевшей от ржавчины старую печкой, я закрыл тонкой пленкой окно зимовья, застелил нары свеженарубленным стлаником и, присев перед дверью у небольшого костра, долгопил чай с лепешками. Во всем полагаясь на чутко дремавшую возле стенки избушки собаку, я спокойно уснул в маленьком спальном мешке. Но в полночь мне вдруг стало тревожно. Так бывает, когда ты ночуешь в лесу и зверь, не чуя тебя, совершенно неслышно подходит к забитому влагой костру. Сбросив с легкого спальника плащ, я зажег свечу и, скрипнув дверью, ступил за порог зимовьюшки. Бездонное, темное небо, зависнув над сонной тайгой, мигало мне крупными звездами. Собака взглянула на меня черным глазом и, утробно вздохнув, плотно закрыла его. Вернувшись в зимовье, я выпил из кружки холодного чая и устроился спать, но сон как рукою сняло. Лежу на пахнувших свежей хвоей теплых нарах, а по мне с головы до пят пробегает какой-то озноб, и чую я, как надо мною, раскинув в стороны руки, склонилась чья-то черная тень. Я не сплю, лежу и боюсь шевельнуться, но понимаю, что до утра не уснуть. Пересилив внутренний страх, вскрикиваю и, быстро нащупав рукой спички, зажигаю свечу и вижу: вдоль стены от меня двинулась в угол неясная тень. Стал я тогда звать в зимовьюшку собаку, а она не идет. Пока тлела свеча, сгреб в охапку постель да подальше от этой избы. Наломав стланика, под кустом примостился. Ранним утром, пристроив к огню котелок, зашел за вещами в зимовье и в тусклом свете окна увидел на стенке слова, вырезанные ножом, что здесь были убиты такие-то... а дальше их имена и фамилии, день и год, и как все это случилось. Сотворил я молитву за упокой убиенных и, попив у костра чай с лепешками, пошел дальше вдоль мари таежной тропюю.

